

Сегодня мы вспоминаем Алексея Ганина, которому исполняется 120 лет. Талантливейшего поэта и оригинального прозаика, земной жизни которому отпущено было лишь 32 года.

Наш читатель уже знаком как с его именем, так и с трагическими страницами его биографии. В 1992 году на страницах “Нашего современника” публиковался его манифест “Мир и свободный труд народам”, а также материалы “дела” так называемого “Ордена русских фашистов”, в частности, протокол допроса самого поэта. Это был, скорее, развернутый мемуарный очерк, посвященный последним полутора годам его жизни в Москве. Алексей Ганин был реабилитирован по этому “делу” в 1966 году — тихо и незаметно, — и его реабилитация, в отличие от реабилитации многих писателей 8–10-летней давности, не привлекла никакого внимания писательской общественности.

Поводом вспомнить Ганина стала и недавно обнаруженная нами прижизненная публикация главы из ганинского романа “Завтра”, печатавшегося в 1924 году в журнале “Кооперация Севера”. Глава эта — “К мёду и сладким пирогам” — была напечатана в журнале “Новая деревня” (№ 5, 1924) и не вошла в основной текст романа в окончательной редакции, а мотивы этой главы были использованы в других эпизодах романа.

На страницах “Новой деревни” тогда живо обсуждалось настоящее и будущее крестьянского мира в нэповскую эпоху, когда социальное расслоение в деревне всё увеличивалось и однажды достигло своего пика. И писатели, рождённые и вскормленные крестьянским миром, прекрасно это видели, о чём свидетельствуют и печатавшиеся в журнале рассказы Петра Орешина, и стихи (в частности, антикулацкие эпиграммы) Александра Ширяева. Роман Ганина — это и живая картина с натуры, и звучащие голоса сельских жителей тех драматических лет, и укор, и надежда... Увы, не суждено ему было развернуться по-настоящему в художественной прозе, но и то, что дошло до наших дней, говорит о незаурядном даровании писателя.

Вместе с републикуемой главой из романа мы печатаем в этом номере статью молодой одарённой исследовательницы Дарьи Кротовой, на которую мы обратили внимание, прочитав её предисловие к сборнику стихотворений Варлама Шаламова “Колымские тетради” (М., Эксмо, 2011), о котором у нас будет отдельный разговор на страницах “Нашего современника”.

АЛЕКСЕЙ ГАНИН

К МЁДУ И СЛАДКИМ ПИРОГАМ

— Кажись, проспали, — высовываясь из шалаша, говорит взлохмаченный дядя Прохор. Он тяжело ворочается. Встаёт. Протирает глаза. И как бы сам себя спрашивает:

— Вёдро-то будет?..

— Будет... как не быть, — отвечает из шалаша дядя Иван. — Комары вчера толкли высоко. И солнышко садилось в чистотку. Роса-то как?

— Крепкая, — отвечает Прохор.

— Значит, быть вёдру...

Выползает из шалаша и дядя Иван. Улыбается.

— Благодать. А птица поёт весело — тоже к вёдру. И когда ни проснёшься, а птица поёт...

— Да.

И оба на минуту смолкают.

Солнце разбудило к дневным заботам и птицу, и зверя, и человека, и каждую малую мошку. Все за работой. Особенно достаётся загнетинцам. Из года в год приходят сюда загнетинцы на сенокосы. Каждый, из года в год, косит одно и то же место — чищеньё. Хотя, по правде, никто там отроду ничего не чистил, а есть там по зарослям лесные поляны, прогалины, от полян рукава, и значит, где хорошему дереву встать неохота, растёт травёнка.

Травёнка растёт худая: по приболоткам ревун-осога да заяшник. А больше всего — суходол, где множество белопёрых, с жёлтыми сердечками попиков. Но загнетинцы и этому рады.

— Где оно, хорошее? С худой овцы шерсть — всё равно што находка.

— Правильно. А ноне трава добрая.

— Худа ли трава? Ноне и солому с крыш сымать не придётся. На коровёнку мало — нешто поднакосить, и ладно...

— На коровёнку всякий накосит. Пожалуй, сиди.

— Да и кто же сидит без дела в рабочую пору? Ноги не купленные, времени хватит, а зима — она всё подберёт...

Так рассуждают загнетинские, приступая к работе. А зимой, когда выматает от голода коров и всякую домашнюю живность, они кормят эту живность соломой. Окормят свежую солому — раскрывают крыши хлевов и сараев, кормят гнильём.

От холода и от скверного корма нередко получается мор на скот и на человека, отсюда начинается всякая беда. Загнетинские начинают скорбеть. Дают боженьке обеты на справедливую жизнь. Ставят свечи. Несут последние пятаки на водосвятные молебны, а приходят домой — матерщина. За всякую мелочь попутно подкидывают бабам и ребятишкам оплеухи и подзатыльники. Бьют изнурённых лошадёнок. А схватит за горло нужда, — заливают горе своё водкой и злым самогоном. И никому невдомёк спросить самого себя: откуда беда?

Так было, может, уже тысячу лет. Изывали загнетинские в духоте и в глупой работе. И каждое лето, забывая зимние мученья, прихваливали свои покосы.

— Надо бы, братцы-товарищи, заводить травосеянье, — говорят они чуть не в каждом собрании. — Довольно мучиться...

— Ничего, трава понече и так хороша, вон трава — барину бы и кушать.

— Да бар-то, вишь, скушали. А хвалить худое — значит, над собой подсмеиваться, нищету темнить...

Но старожилы загнетинские туги. Одно знают: ломи работу, и всё. Руки тоже не купленные. И вот сегодня уж третий день льётся на этих *чищеньях*, как и всегда, не купленный загнетинский пот.

Будто цветно говорливый поток, проходят загнетинские по просеке мимо *чищенья* Прохорова. Торопятся. Бабам надо засветло домой к коровам и ребятишкам, девкам и молодухам — в болото за красной морошкой. Мужикам тоже надо: пять верст — дорога и лошади, а до дому — пять вёрст да болото.

Только мальчонкам некуда торопиться. Они шмыгают перед ногами у мужиков, ягоды у баб из-под рук обивают. Им что? Они мастерили себе из дремучего дубья забаву. Им бы пересвистеть друг друга — и ладно.

Ушёл и дядя Прохор. Он с просеки ещё раз посмотрел на пузатый притихнувший стог. И гуще упала в брови ему хмурая тень.

Вплёлся в цветистый поток и дядя Иван. Щёбет будто птичью судьбу перенял:

— Благодать... — и весело разбегаются по лицу у него морщины, как весёлые лучики.

— Мне вот, други, на шестой десяток ровно бы пять, да и тебе, Прохор,

поди-тко, не меньше, а такого году не помню. Ноне птице лесной — и той ягоды всякой хоть отбавляй... Великое украшение...

— Нет, братцы-товарищи, — громко заговорил Клюка, — всему обновленья надо, да через труд человеческий, да через разумный. Вот мы говорим: накосили. Да разве это сено? Мученье наше одно, а не сено. И всё-то накосили шестьсот пудов, значит, по тридцать пудов на рыло.

— Не больше, — соглашаются мужики.

— А работали в сотню рук трое суток, — продолжает Мишка Клюка. — И не стыдно.

Голос у Мишки крепкий. Он идёт впереди. Телом он такой же силач, как и дядя Прохор. Он так же радостно любит мир, как и дядя Иван, только он другое знает о мире. Он разумом любит мир.

— Разве, говорю, это сено? Да откуда ему и быть? На сыром у нас вымокло, на сухом — лишаем подёрнуло. А где бы траве быть — пни да кустарник. Вот трава то — мышь за версту видно. И ходить не пошто бы.

— Ну, это ты зря, Миша... — заступается дядя Иван за лесную пустыню.

— А ты не щебечи, — обрывает его дядя Прохор. Он начинает понимать теперь, отчего пришла ему такая досада. Это Мишка Клюка, ещё вчера приходил к нему на *чищенье*, да посидел, да порассказывал, как живут и работают люди, так разве это жизнь да работа — наша-то?.. Бурчит:

— Мы изо дня в день то и дело, што горе в петлю закручиваем да нужду перетряхиваем. А силы у нас на всё бы хватило. — Он говорит — и в голосе у него глухая обида. — Нам бы горы двигать да со Змей-Горьней сражаться, а нас мошкара да солома замучили. Нет, наше время не ладно прошло, Иван хороший... Потому и молчи...

— Всему свой черёд...

— Ну, вот и слушай, что говорят, которые поумней... да нас помоложе.

— Да худа ли нонече трава, — настаивает дядя Иван. — Трава — мёд...

— Значит, ты мёду не видел, — говорит загоревшийся Мишка Клюка и широко размахивает рукой. — А вон где приложен настоящий труд да разумные руки, там — да. Там действительно — мёд. Там зайдёшь в траву-то — не выйдешь до шеи. А трава — клевер да тимофеевка, и всякие прочие.

— Ну, экая нам ни к чему, штоб до шеи-то, — ехидничает в рыжую бороду Чепя. — Наши косы не выйдут.

— И грабли, пожалуй, сдрефят, — резонно добавляет кто-то другой.

— Ничего, там не сдрефят. Там не наше горе — коса зазубренная. Там рабочий человек на покосе — вроде на тарантасе: только сиди да правь, а машина и скосит тебе и выгребет. Там всё — машина.

— Правильно. Сами в плену бывали... Видели... Да и у нас в Расее немало.

— А машина, она — хорошо. Иное дело нам всему Загнетину ковырять на неделю, а там двое да трое в сутки.

— Да меньше нашего и устанут, — поддерживают Клюку мужики, которые помоложе.

— Зато и живут. Луга у них — картина, поля — того лучше.

— И коровы — как наливные, — продолжает разгораться Клюка, — там не в угаре живёт человек. У каждого и садик около дому в порядке, и пчельничек. И овощь всякая в огороде. Да и в домах не грязь тараканья да тучи мух. Тут у него — столовая. Там — кухня, а там — спальная... Там светло человеку...

— Што говорить, — улыбается добродушный Иван, — в светлое окно, да в большое, и на свет Божий смотреть приятней. Больше тянет к работе...

— Из чистоты и на работу идти веселей.

— А светло человеку, — продолжает Клюка, — и отдых у человека светел... Там и книги полезные в каждом доме найдутся.

— Сено в хрестьянстве — всему голова, это верно, — соглашаются мужики...

— Будет много сена, будет и много живности во дворе. Сыт будешь — и о книге подумаешь.

— Всё будет, коли сыт человек...

— Завозились бы, мужики, и вы. Вон как Михайло-то Фёдорыч рассказывает... — вмешивается в разговор сноха Иванова, Палагия... — Может, и нам бы полегче было... а то вот бегай... Там ребятишки ревут, там коровёнка недоена... Провались ты...

— Верно, Палагия, — начинают говорить и другие. — Там испеки, да свари, да скоро ей на работу... Пожрать, прости господи, некогда, не то што в дому блюсти чистоту...

— Да и варить-то неча... одно-то мурло на дворе, так не ожиреешь... Тьфу ж на жисть!

— Вот вам и земля... — пыжится Чепань. — Нахватали земли, думали: рожки умывать молоком-то... а тут и пожрать неча. — При слове “земля” острые Чепины глаза загораются злыми искрами.

— Земля — она тоже хозяйина чуёт. А машины не про нас делают... вот што.

— Как так не про нас?... Разве мы не люди?

— Люди-то мы люди, только руками размахивать... Вон хоша бы Ключка. И чего ты — клевер-машина — размахиваешь, будто и впрямь на машину приехал. А?..

— И приедем... дай срок — и приедем...

— Ну, и ври, коли ветру марго... хозяйина, говорю, земля требует...

— Уж не тебя ли, Чепань?.. Так об этом забудь. Тут споры оконченные. Шабаш.

— Ну вот, жрать-то и неча... мы-то проживём... у нас хватит, — бахвалится Чепань. Он нарочито важно гладит широкую бороду. Надувает щёки. И багровеет у него от злости тугая шея:

— Вот бегай день-то от зари до зари, а приди домой — и пожрать неча...

— Чего уж, житюга — што кляча: куда вывезет — неизвестно.

— И сами все трун на труне... Жуём воду — водой и захлёбываем, — сокрушаются мужики...

— Вот тут-то и надо за ум браться, да по-настоящему. По-Чепину быть — все сдохнем от голоду да от глупой работы. А где хозяйство заведено по-настоящему, да заведено травосеянье, да хорошее скотоводство, ад-машины, там и земли нашего меньше, а толку во сто раз больше. Там идёт рабочий человек на работу — сейчас ему и кофей, и бутерброды, и масло, и яйца, и ветчина. А всё отчего? А работают с толком. Вот к разумной работе, братцы-товарищи, и нам гнуть надо.

— Надо, братцы... всенепременно надо.

— И по-настоящему надо...

— Как не надо... — громко соглашаются мужики. И быстрее идут по лесной дороге.

Теснятся позади кудрявые кусты и берёзы зелёной стеной, точно они вот сейчас сбежались к просеке и силятся заглядывать друг через друга, чтоб подсмотреть, куда уходят загнетинские. А впереди притаилось болото. Широкое и глухонемое. Оно слушает голоса мужиков. Притаилось, будто о чем гадает.

Сосны в болоте шершавые, низкорослые. Издали видно, как пелятся из-за кочек бурые пни да коряги — наследие дремучего времени, как стелются заплывшие белыми мхами мёртвые зыбуны.

Покамест идут загнетинские по просеке, всё у них ладно. Слово к слову — и клеится узорная былль, близкая и возможная. А заходят в болото, — цветной поток рассыпается. Ломается о пни да колоды.

Густо охватывает загнетинских болотная сырость. Засасывает болотная грязь.

— Оказия... — удивляются загнетинцы. — Ишь, лешево кладбище наворочено. Беда.

— И откуда взялось экое болотище...

— Вот тебе и травосеянье... Тут одному идти — грязи до пупа. А ты говоришь — машина... — зацарапывает Чепань. Ему обидно, что все загнетинские слушают Ключку — бывшего пастуха, а его — бывшего старшины — как будто и нету. Резонничает:

— Нет, Клюка. Машины да травосеянье нам по климату не подходят.
— А ты думаешь, всё в раю зародились? Нет. Люди целые болота высушивают, реки отводят, моря отпехивают, ежели надо... Там чуть што — лужа, застой — сейчас дренаж, значит, канава по-нашему. Вот там и дороги. И к делу скоро, и глазу приятно.

— Где это в людях? Што-то ве видно...

— Да вон хоша бы в Германии.

— Ермания... Так Ермания тебе не Загнетино... — начинают сердиться мужики. Они густо осыпают теперь матерщинами каждый пень, каждую кочку, где довелось им споткнуться. Они перебираются с кочки на пень, с пня на колоду и шире расплазуются по болоту. Ворчат:

— Ермания... вон мы приехали в Ерманию-то в пятнадцатом году. И вши этой с нами в плен прибыло — хошь лопатой откидывай. А привели нас да в баню, а кунды-мунды — в бочку.

— Ну?

— Вот тебе и “ну”. Вшу-то потом за деньги не купишь... У нас этих вшей ещё на сто царей хватило бы, а там — одиночно... Мы из бани — и кунды-мунды готовы. Ермания... дренаж...

— Да у нас и топора хорошего али лопаты во всем Загнетине не отыщешь.

— Всё это пустяки, — горячится Клюка, — а говори: все мы, от мала до велика, свистулезники. Где бы обсудить, да за дело — мы от дела да свистульки. А чья свистулька не вышла — в зубы... Вот и получается: дорога — верста, а мы пять вёрст в окошины загибаем. А што бы дорогу настоящую бросить!.. Канавы — руками на сажень выкидаешь. Лес рядом, руби да откидывай.

— Да песку воза по три-по четыре с хозяйского рыла — вот и дорога, — кто-то поддерживает Клюку...

— И песок рядом. Вон он, — показывает Клюка на зелёный пригорок.

— Да из-за чего ломаться-то?.. Сам же говоришь, по тридцать пудов на нос...

— Так по тридцать пудов, я говорю это, с Чепиной плешью. А ежели по разумному — тысячи, только заведи травосеяние.

— Ну, и врать же ты, Клюка, обучился. Одно слово — пленный. Тышшы... Эх, ты...

— Чего врать? Вот, скажем, квадрату у нас на этих *чищеньях* 100 десятин, вот и считай: при травосеянии с каждой десятины люди накашивают 300 пудов. Значит, 300 умножить на сто. Што тут? Эй, вы там, свистулезники. Ну-ко? — обращается Клюка к ребятишкам.

— Где им, разве их учат — на дело...

— Ишь окоёмы. Им бы собачиться да обутку портить... — ворчат старики на мальчишек. Но мальчишки засновали, как воробьи в конопле. Они ищут, где толще сосны, царапают на шершавой коре умноженья. Кричат.

И по-новому насторожилось болото.

Тысячи лет дремало оно под лягущечий квак. Стонами куликов да плачем пугливой пичуги пугало оно запоздалых прохожих. Под глуши сосен дремало оно. Веяло тоской и морокой от зыбунов, где от века маячил белесый туман. И было оно властелином могучим, как смерть, на тысячи людских поколений. А тут? Такого от века не было! Не новые ли колдуны безбородые появились? Вот они царапают знаки на шершавой коре. И по-новому заклинают болото...

— Кто скорей? — торопит их Мишка Клюка... И мальчишки кричат:

— Триста...

— Три тысячи...

— Тридцать тысяч.

— Правильно, — соглашается Клюка, — тридцать тысяч. Вот тебе, Чепан, и пустышина.

— Не знаю... — оправдывается Чепан, — бирывал я и клеверу, а выросла какая-то стерва колочая...

— Это верно. У Бога силой не вырвешь, — поддакивает Чепе Иван.

— Нет, вырвешь. Да с дураками, я думаю, и Богу скушно. Дуракам вот на всё Загнетино — 600 пудов, а умным — тысячи, небось, разница. Тут 30 пудов на хозяйство, а при травосеянии — полторы тысячи, в пятьдесят раз больше. А это што значит? А вот: есть у тебя одна коровёнка, и ту не знаешь, как продержат, а накосил бы полторы тысячи — держал бы вместо одной двадцать. Да и коровы были бы не такие валежины.

— Правильно, — соглашаются мужики.

— Да, небось, и другое што прибыло бы.

— Вот вам и кофей, и масло, и молоко... Хорошее житьё рядом — в окна стучит... А мы на глупой работе сдыхаем. И знать ничего не хотим.

— Всё от себя... Братцы... Сначала бы один луг засеять. Потом — другой. Так и пошло бы, што ни год — выше да краше. Жизнь — она сразу конём заиграет.

Идут мужики. Бластится им зелёный пригорок; бластятся за пригорком светлые сытые избы. А бабы всё шире расплозаются по болоту, будто их манит куда рогатая, сухорукая нежить. Любо девкам и молодухам собирать морошку — весёлую ягоду. Глянут нечаянно в сторону — и будто красный говор стоит по болоту. А мужики лезут, где гуще сосны, и будто суше. Но соснам от века приказано блости болотную глушь. Хватают сосны цепкими сучьями за полы, больно стегают упругими лапами загорелые лица и шеи и сыплют пригоршнями колючую хвою в лохматые бороды. Но загнетинских не остановишь.

Дохлопывают загнетинские последнюю грязь и один за другим выходят на зелёный пригорок.

— А мёд — это и для здоровья пользительно.

— Ещё бы...

— А здоровый человек, да неизмаянный, он везде лучше и к нам ласковей... — разговаривают размечтавшиеся о сладком житье звонкоголосые молодухи...

— Здоровый мужик али хворый — рази сравнишь...

— Да...

— Вон бабы-то мёду хотят... — кто-то подшучивает над бабами.

— Что ж... — снова начинает Клюка, — клевер не надо выдумывать. Пчелу тоже. Всё дадено человеку — только бери, приложь разумные руки и пользуйся.

— Ну, други, пошагивай... вон солнышко-то скоро закатит...

— Оно подождёт, — весело смеётся Агафипка. Она лукаво и ласково улыбнулась Мишке Клюке и заторопилась вперёд.

— Вот она — белый огонь и сочная, как весеннее поле, — думает Мишка Клюка, и хочется ему сдвинуть с загнетинских душ слепую покорность судьбе и мёртвую неподвижность.

— Да, братцы-товарищи, только стоит разумно взяться за дело — и земля наша, поля и луга загнетинские станут скатертью-самобранкой. Было время — нам рассказывали сказки о сладких пирогах и о мёде, а мы слушали и облизывались. Но теперь мы все должны понять, что с настоящих столов вот этими настоящими руками, если мы захотим, будем брать и мёд, и сладкие пироги.

Он говорит, и бодрей шагают загнетинские.

И кажется, не к дому они идут, а льются цветным потоком по зелёным пригоркам туда, в зарю, в весёлое и говорливое завтра.

НАРОДНАЯ ВЕРА И ХРИСТИАНСКАЯ СИМВОЛИКА В ПОЭЗИИ АЛЕКСЕЯ ГАНИНА

Алексей Ганин – один из интереснейших поэтов начала XX века. Расстрелянный в 1925 году, он был впоследствии как будто вычеркнут из литературного процесса той эпохи, а его творчество – практически отторгнуто от читателя и исследователя. Лишь в конце истекшего столетия интерес к этому яркому и самобытному поэту возродился, и сегодня, в начале XXI века, для ценителей и исследователей русской литературы совершенно очевиден масштаб фигуры А. Ганина. Знакомство с его творчеством значительно обогащает представления о художественном наследии Серебряного века и первого послереволюционного десятилетия.

Алексей Алексеевич Ганин родился в 1893 году в деревне Коншино Вологодской губернии в крестьянской семье. В 1911 году поступил в фельдшерско-акушерскую школу в Вологде, закончил обучение через три года и сразу же был призван в армию (служил фельдшером в госпиталях Петрограда). В период армейской службы Ганин познакомился с Есениным, который работал в госпитале Царского Села, и в 1917 году Ганин вместе с Есениным и будущей известной актрисой Зинаидой Райх предпринял поездку по Северу России: сначала – к себе на родину, в Коншино, а оттуда – на Соловки. Известно, что во время путешествия Есенин и Райх обвенчались. Ганин присутствовал при этом событии, он был поручителем со стороны невесты, в которую и сам был влюблён. Зинаиде Райх посвящено его стихотворение “Русалка, зелёные косы...”, написанное вскоре после её венчания с Есениным.

После революции Ганин вступил в ряды Красной Армии, служил военным фельдшером. Доктор А. В. Фалин, сослуживец Ганина, писал о нём: “Военный фельдшер А. А. Ганин проявил себя хорошим помощником врачей, инициативным и энергичным работником. Ганин безукоризненно выполнял свои обязанности во время операций. Нередко самостоятельно решал много разных задач... Был требователен к себе и подчинённым. За нерадивость строго взыскивал. Сам работал, не считаясь со временем”¹.

В 1919 году Ганин женился и на протяжении четырёх последующих лет жил с семьей в Вологде. В этот период, в 1920–22 годах, поэт издал в Вологде несколько своих книг, отпечатанных литографским способом². Печать такой книги – необычайно трудоёмкий процесс: необходимо на каменной форме написать текст специальным литографским карандашом, потом обработать эту форму, и только после этого печатать с неё книгу. Ганин не только писал на камне тексты стихотворений, но и рисовал иллюстрации. Помогал в выпуске книг Ганину С. Клыпин, владелец частной типографии в Вологде, на своих же книгах поэт указывал название придуманного им самим издательства – “Гли-

¹ Цит. по: Кондакова М. А. Воспоминания о брате А. А. Ганине (1979). Опубликовано как приложение к ст.: Тихомиров С. А. Возвращение к читателю // “К тебе пришёл я, край родимый...”. Книга о судьбе и творческом наследии вологодского поэта Алексея Ганина. Вологда, 2005. С. 32.

² Подробно о способе печати Ганиным своих произведений в Вологде см.: Демидова Е. Л. Литографированные издания Алексея Ганина // Там же. С. 101–108.

на". Всего Ганин выпустил таким способом 11 книг. Естественно, тираж их был крайне мал, и сейчас эти сборники, хранящиеся в Вологодской областной универсальной научной библиотеке, являются библиографической редкостью.

Конечно, Ганин хотел бы видеть свои книги напечатанными не только "самодельным" способом, но и изданными значительным тиражом в центральных издательствах. Может быть, в надежде реализовать это стремление поэт в 1923 году отправляется в Москву. Поездка в столицу была вызвана и необходимостью заработка, так как семье Ганина катастрофически не хватало средств к существованию. В Москве поэт "оказался в крайне отчаянном положении: без работы, без комнаты, без денег"¹. Он тщетно пытается устроиться на службу, найти хоть какой-нибудь источник дохода, ведь "дома осталась ни с чем жена и двухлетняя дочь, перенесшая летом тяжелую дизентерию. А жена всё ещё тосковала о маленьком сыне, умершем в то же время и тоже от дизентерии"².

Ганин вступает в столичный литературный мир, активно общается с Есениным и другими новокрестьянскими поэтами, а также со многими представителями тогдашней художественной интеллигенции. Ежевечерние собрания в общепите писателей, потом, по словам Ганина³, "галдёж до двух часов ночи" в кафе "Стоило Пегаса", потом – "если в состоянии мы были двигаться" – "кручение до шести часов утра" в ночных чайных. Ганину всё это было тяжело, его вовсе не привлекала такая жизнь с бесконечными кутежами и ночными весёлыми сборищами. Ему хотелось спокойно работать, он вынашивал планы нескольких крупных драматических произведений из римской истории и, кроме того, начал писать "большой роман, который бы охватывал жизнь России в целом за последние двадцать лет и действие в котором разыгрывается, в отличие от всех существующих романов, не на любовной интриге, а на социально-экономических условиях"⁴. Одним словом, "хотелось работать, но не было стола, чтобы присесть и записать пережитое", поэтому длился "пьяный угар и смертельная тоска".

Участники шумных богемных собраний порой вели себя крайне неосмотрительно, а иногда и нарочито независимо, даже вызывая. Известно множество скандалов с участием представителей творческой среды того времени. Например, широкий резонанс в соответствующих кругах Москвы получил арест в ноябре 1923 года четырёх поэтов: С. Есенина, С. Клычкова, П. Орешина и А. Ганина. Якобы поэты, сидевшие в кафе за кружкой пива, позволили себе какие-то рискованные высказывания, а гражданин за соседним столиком подслушал их разговор и вызвал милицию, требуя ареста "преступников". Над поэтами состоялся товарищеский суд, им тогда лишь пригрозили, но оставили на свободе. Ганину свободу и жизнь оставили ненадолго: уже в следующем, 1924 году поэт вновь был арестован, а 30 марта 1925 года расстрелян.

Алексей Ганин был осуждён как глава "Ордена русских фашистов" – вымышленной организации, которая, естественно, не существовала и не могла существовать в 1924 году. Поводом для ареста послужил якобы найденный у Ганина программный документ "Ордена" – тезисы, озаглавленные "Мир и свободный труд – народам". Согласно "Протоколу допроса гражданина Ганина Алексея Алексеевича" (опубликованному в 1992 году журналом "Наш современник"), поэт утверждал, что тезисы представляют собой набросок к будущему роману и отражают взгляды отрицательного героя – противника советской власти. "Объединяя случайный материал, повторяя собранные мной из официальных изданий, из случайных фраз и белогвардейских листовок для моей работы "тезисы", я полагал, что не делаю особых преступлений. В этих тезисах я не выразил никакой государственной тайны, потому что никакой тайны я не знаю"⁵. Как отмечает проф. М. М. Голубков, рассуждая о причинах ареста Алексея Ганина, "сейчас уже кажется очевидным, что истинной причиной были не сфабрикованные политические дела и ярлык фашиста, навешанный на поэта, но нетерпимость большевиков к тому мироощущению,

¹ Протокол допроса гражданина Ганина Алексея Алексеевича (Предисловие Ст. Куныева) // Наш современник. 1992. № 4. С. 160.

² Там же. С. 161.

³ Там же. С. 161.

⁴ Там же. С. 160.

⁵ Там же. С. 166.

которое смогли воплотить в своем творчестве писатели, выдвинутые русской деревней в ряды великой русской литературы”¹.

Алексей Ганин реабилитирован посмертно в 1966 году.

В литературоведении Алексея Ганина относят к числу поэтов новокрестьянского направления. Действительно, его художественный мир во многом близок поэтике Н. Клюева и С. Клычкова, С. Есенина и П. Орешина, А. Ширяевца и П. Карпова. Эти люди родились и выросли в деревне, прекрасно знали крестьянскую жизнь, которая и была плодотворной почвой, взрастившей их талант. Естественно, мир деревни органично вошёл в лирику этих поэтов. Так, у Ганина есть целый ряд стихотворений, связанных с темой земледельческого труда или поэтически отражающих крестьянский быт.

Жизнь русского села для Ганина – не просто предмет восхищения, ностальгических размышлений или лирической рефлексии. За поэтическими описаниями покоса или пахоты, примет сельского обихода, всего размеренного и мудрого уклада деревенской жизни стоит глубокий нравственный смысл: поэт убеждён в том, что именно крестьянство является хранителем русской духовности, подлинным нравственным оплотом нации. Эта идея становится определяющей для всего творчества Ганина, и практически любое его стихотворение становится подтверждением тому. Наиболее ярко эта система представлений выражена в поэме “Памяти деда” (1918). Поэма описывает жизнь человека как непрерывный труд, но этот труд – светлый, радостный и здоровый. Жизнь Деда – крестьянина, землепашца, – казалось бы, проста и незатейлива: “не завидней онучи”. Каждое утро, рано-рано, когда на небе ещё звёзды “ныряют в глубокое Сине”, Дед уже встаёт, “выедет, было, на пашню и пашет”. Не забавляясь пустыми рассуждениями, не задумываясь “о концах и началах”, человек возделывает землю и живёт плодами своих трудов. Дни Деда идут своим чередом, в заботе о хлебе, в согласии с миром и с собою, и так же, как естественно и гармонично шла его жизнь, приходит и смерть. Собственно, в поэме кончина Деда ни разу не названа смертью – он лишь “уснул”, “задремал” под божницей, и это будто даже не смерть обычного человека, а “успение” святого. Сквозь дремоту Дед “видит: из груди, что ветер, летит лебединое стадо – // Земные заботы, печали”², – и в избе усопшего Деда становится тихо и празднично, как в церкви. Дед в поэме Ганина – это ещё один образ в галерее праведников русской литературы, стоящий в одном ряду с соответствующими героями Н. Лескова и А. Чехова, А. Платонова и А. Солженицына.

Поэма написана свободным стихом, в метрическом складе которого, однако, явно ощущается ориентация на гекзаметр. Отдельные фрагменты поэмы написаны именно гекзаметром, со строгим соблюдением его метрической схемы:

*Хочется Деду внуочка позвать — и не родится слово.
А день широко разгулялся под небом глубоким и синим,
и Сивку впрягли уж другие распахивать вёшние нови.
Всё на селе, как и прежде, лишь по-новому гвозди,
чуется, кто-то вбивает, и пилят сосновые доски...³*

Обращение поэта к гекзаметру, естественно, вызывает в сознании читателя ассоциации с античным эпосом, но не с гомеровским, а, скорее, с гесиодовским – с поэмой “Труды и дни”. Значительная часть этой поэмы посвящена описанию труда земледельца – труда, который должен восприниматься человеком не как тягостная обязанность, а как исполнение божественных установлений. “Вечным законом бессмертных положено людям работать”, – утверждает Гесиод. “Всюду начертано: зверю таиться в лесах и следить за добычей... // А человеку в трудах украшаться под небом”, – рассуждает герой

¹ Голубков М. М. Мешок алмазов. Алексей Ганин и книга о нём // Историк и художник. 2008. № 3. С. 54.

² “К тебе пришёл я, край родимый...”. С. 331–335.

³ В ряде изданий поэмы графически строки выглядят несколько иначе: большая часть из них разбита на два-три кратких отрезка. Подобное дробление могло быть вызвано исключительно техническими причинами. Характера метрики это несколько не меняет.

поэмы Ганина. Гесиод рассказывает, как должен жить разумный земледелец: быть прилежным в работе, больше успевать сделать в тёплое время года, когда земля щедро дарит человеку свои плоды, загодя готовиться к зиме. Хороший хлебопашец знает и многочисленные приметы, понимает, как связаны между собой те или иные природные явления. Таков и Дед:

*Глянет на поле. И где-то далече-далече в поле кричат журавли...
И Дед уже знает по крику: будет ли ведро, будет ли непогодь ныне [...] Всюду приметы, кто в тысячный раз просыпается в красной заботе о хлебе. Старому Деду раскрыта зелёная книга земли.*

Вместе с тем, несмотря на явно ощущаемый идейный и “стилистический” параллелизм, у Ганина смысловой доминантой всё же является христианское сознание необходимости исполнять свой долг на земле, ощущение жизни как крестоношения, а не просто готовность трудиться, чтобы быть более богатым и счастливым.

Такое понимание цели и смысла труда и любой человеческой деятельности характерно для Ганина и вполне согласуется с идейным миром новокрестьянской поэзии в целом. Ганин никогда и не отрицал своего внутреннего родства с поэтами “крестьянской купницы”¹, но всё же ни с каким из современных ему художественных течений своё творчество не соотносил, называя себя “романтиком начала XX века”. Его мироощущение и вправду было романтическим: ожидание и жажда чуда, вера в поэта и всеисилие его слова, восприятие природы как средоточия красоты и мудрости бытия. В значительно меньшей степени отразилась в лирике Ганина темная сторона романтического мироощущения — демонизм, богоборческие порывы, надломленность и ирония. Безусловно, Ганин — поэт широчайшего спектра настроений: от ликования и восторга до высокого трагического пафоса, но доминирует в его творчестве всё же светлая нота. Лирика Ганина, при всём её разнообразии и богатстве настроений, по большей части яркая, праздничная, цветистая, она наполнена свежестью и душевным здоровьем. Жизнь Ганина не была лёгкой — он пережил революцию и гражданскую войну, на протяжении 20-х годов жил под постоянной угрозой ареста, — но, несмотря на это, поэту удалось сохранить в себе любовь и доверие к жизни. Это был ни в коем случае не тот примитивный оптимизм, который А. Блок назвал мирозерцанием “несложным и небогатым”. Это было мудрое приятие жизни, основанное на глубокой религиозности.

А. Ганин является одним из самых ярких и мощных православных художников своего времени. Религиозное чувство и религиозный идейный строй пронизывают его поэзию — от ранних стихотворений до произведений 1920-х годов. Ганин — поэт христианского сознания, воспринимающий мир как средоточие любви Божьей и чудес Божьих, и именно это определяет художественную и мировоззренческую систему его лирики.

Один из ведущих образов (и одновременно — одна из ведущих идей) его творчества — это Любовь. С идеей Божественной Любви, которая наполняет весь мир, в лирике Ганина неизменно соединено представление о безграничной Божьей милости и доброте. В личной, индивидуальной вере поэта, если судить по его стихотворениям, превалирует именно этот аспект, идея же предстоящего Суда, неминуемого воздаяния за грехи становится для него чем-то абстрактным, неким символом, но никак не тем грядущим, что действительно ожидает любого человека после смерти.

Яркое подтверждение сказанному — поэма “Воскресение” из сборника “В огне и славе”. Это поэма о Втором пришествии Христовом и конце Мира, своего рода поэтическое толкование Апокалипсиса. Поэма состоит из двух частей: первая описывает поэта, спящего “могильным сном”, заточенного “в холодный гроб”. Во второй части лирический герой слышит призыв: “От-

¹ Данный аспект поэтики Ганина рассмотрен в ряде исследований: Голубков М. Мешок алмазов. Алексей Ганин и книга о нём // Историк и художник. 2008. № 3; Дюжнев Ю. “Нас выслали вечность, вскормила изба” // Север. Петрозаводск, 1998. № 10; Куняев Ст. Жизнь и смерть поэта // Ганин А. Стихотворения. Поэмы. Роман. Архангельск, 1991; Михайлов А. Пути развития новокрестьянской поэзии. Л., 1990; Парфёнов Н. Алексей Ганин и его литературная судьба // Север. Петрозаводск, 1973. № 9.

крой глаза и выйди вон из гроба”, – и, покорный зову, восстаёт и видит апокалиптическую картину:

*Бежала ночь на небесах червлёных,
Два солнца спрятались за красный лес,
Язык огня от жертвенников чёрных,
Шумя, как вихрь, летел в глуби небес.*

*Из всех гробов, проглоченных ночами,
Горя тоской, по огненной реке
Воскреснувшие тихо шли рядами,
И каждый нёс дела свои в руке¹.*

“Дела” людей, которые они несут на суд Божий, – это скорбь, “чёрное зло”, “томительный недуг”. Люди в страхе ожидают своей участи, но “час суда никто не вострубил”: Господь решил не судить “ослепнувшее стадо”, а простить весь Мир и даровать всем благо вечной жизни. Своим крестным страданием Христос уже искупил грехи всех людей, и теперь “язвой рук” Он благословляет человечество, дарует всем прощение.

Трактовка евангельского Слова именно в таком ключе чрезвычайно характерна для Ганина. Она, может быть, не обладает догматической точностью, но глубоко отражает одну из важных граней народных православных представлений о Христе: неисчерпаемость Божьего милосердия, всепрощение, Он – Господь, взирающий на мир “с ласковой отрадой”. Именно такой круг религиозных представлений отражён и в другом стихотворении Ганина – “Гору скорби День взвалил на плечи. . .” из цикла “Вечер”. По смыслу это стихотворение явно разбивается на два раздела, сходных по образному наполнению с разделами “Воскресения”. В первых строфах стихотворения описывается День. Ганин во многих стихотворениях пишет это слово с заглавной буквы, вкладывая, по всей видимости, в него целый ряд значений: это и любой день любого человека на земле, это и ежедневно занимающие ум человека суета и заботы, печали и радости. В стихотворении, о котором идёт речь, День – это скорбь, тщета и пустой шум:

*Гору скорби День взвалил на плечи,
В суете душа весь день купалась,
И людские речи, будто мухи,
О тщете с полуденья жужжали².*

Но вот День уходит, суета и скорбь “ниспадают” с души. Теперь лирический герой новым, чистым взором смотрит на мир, “погружаясь в тайны мирозданья”. Он слышит, как Прамать-земля обращает к Саваофу молитву о своих “чадах неразумных” – погрязших в заботах людях. И Господь повелевает “силам ясновидным” ниспослать всем обитателям Земли утешение:

*Чтоб в земном во чреве-океане
Всяка тварь отныне веселилась
И вовек, как злак, произрастали
В человеках мир, благоволенье.*

“Любовь Пропятая” искупает все грехи Мира, поэтому люди прощены и утешены, а Земля – “ласкова” к своим обитателям. Не только в идейно-образном строе этого стихотворения, но и в его формальном устройстве выражается глубокая укоренённость автора в народной традиции: по внутренней организации и стилистике оно явно ориентировано на духовный стих – фольклорный жанр, представляющий собой лирическую песню-сказ, толкующую евангельские или библейские сюжеты. Стихотворение Ганина, как и духовные стихи, не имеет рифм (это верлибр) и лишено жёсткой метрики. С жанром духовного стиха его роднит и специфика образного ряда: образ матери-земли,

¹ “К тебе пришёл я, край родимый. . .”. С. 320.

² “К тебе пришёл я, край родимый. . .”. С. 273.

страдающей за своих чад, образ “солнечного камня”, восходящий к часто упоминаемому в духовных стихах “Алатырь-камню” или “бел-горюч камню”, обладающему, согласно народной мифологии, чудесными свойствами. С духовным стихом стихотворение Ганина сближает и то, что в нём ощущается скорее не ортодоксально-православный, а апокрифический дух: Праматерь-земля, молящаяся “солнечному камню” и одновременно — Богу Саваофу, серафимы, ходящие “по заре” и укрывающие землю “Божьей ризой”. Для этого стихотворения характерно идущее опять же от фольклорной традиции предельное сближение Божьего и человеческого мира. Столь же, а может быть, ещё более явно это сближение чувствуется в другом стихотворении из того же цикла — “Отгони свои думы лукавые...”, — где Господь совсем рядом с людьми, и Его можно увидеть. Бог здесь — это не повелевающий Саваоф, как в предшествующем стихотворении, а “Учитель и ласковый Брат” (эпитет “ласковый”, встречаемый уже в третьем стихотворении, является одним из любимых у Ганина). Весь Мир же, вся Земля — это храм, где служится Божественная литургия: звёзды видятся поэту горящими свечами, небо представляется клиросом, с которого льётся ангельское пение, а покрытые утренней росой травы — причастниками.

Для христианского сознания необычайно значима категория чуда. В поэтическом мире Ганина она неизменно присутствует, как, например, в стихотворении “Предутрие”. Наступающий рассвет описывается здесь как чудесное явление, как дар Божий, в ожидании и предвкушении которого природа пребывает в молитве: “ласковый ручей, перебирая чётки, // поёт, молясь судьбе, // серебряный псалом”. Природа в этом стихотворении не просто оживает, а одушевляется, наполненная божественным присутствием.

Приход весны для поэта — тоже чудо, как и наступление рассвета. Стихотворение “Сегодня целый день я пил Твоё дыханье...”¹ своего рода гимн наступающей Весне, молитва к Ней. Стихотворение заставляет читателя вспомнить о блоковской поэтике: весна у Ганина — это одновременно и божество, и благо, и воплощение красоты Мира, и объект восхищенной любви и преклонения поэта. Это стихотворение может быть прочитано как своеобразное преломление темы Вечной Женственности, соловьёвской Души Мира. Речь идёт, конечно, не о заимствовании Ганиным образно-тематического ряда стихотворений Блока или Соловьёва, а, скорее, о некоем взаимодействии с символистской поэтикой, в орбиту которой были так или иначе вовлечены практически все поэты Серебряного века. Для Ганина подобное взаимодействие было тем более естественно, что его образный мир во многом связан с этим художественным направлением, хотя его вряд ли можно было бы однозначно охарактеризовать как поэта-символиста. Как отмечает Ст. Куняев, Ганин “создал в своей поэзии своеобразный сплав народного и глубоко интеллигентного, модного в те годы символического понимания мира”².

Ключевым для русского символистского искусства является, как известно, идущее от Вл. Соловьёва (а у него, в свою очередь, сформированное на основе идеалистических учений) представление о двоюмирии: существовании земного, брэнного мира и высшего, вечного. Поэт — посредник между двумя мирами, он способен увидеть в здешнем, тленном мире отзвуки того, совершенного, услышать отзвук его “торжествующих созвучий”. Русские поэты-символисты в значительной степени опирались на это учение, и в лирике Ганина также можно обнаружить связь с соловьёвскими представлениями. В частности, стихотворение “Я прихожу к тебе мечтать...” из цикла “Красный час” — это стихотворение о двух мирах: “отчизне” поэта — заоблачных высях, где поэт “в вихрях солнечных летал” и “песней ткал судьбу миров”, и брэнном мире, “земных селениях”, куда явился поэт, приняв “образ человекий”. Творчество — не что иное, как воспоминание поэта о “забытой отчизне”, мечта о ней и тоска по ней. Стихотворение насыщено символистской риторикой: “пожар мирских восходов”, “кончины и начала”, “взмахи огнепальных крылий”, “роща лунных чарных лилий” и т. д. Те неологизмы, которые встретились в

¹ Сегодня это стихотворение известно читателю в двух вариантах. Источник одного из них — конволют, изготовленный А. Ганиным, источник другого — прижизненная публикация этого стихотворения под названием “У косогора” в сборнике: Ганин А. Былинное поле. М., 1924.

² Куняев Ст. Жизнь и смерть поэта // Ганин А. Стихотворения. Поэмы. Роман. Архангельск, 1991. С. 13.

перечисленных словосочетаниях (“огнепальные”, “чарные”) заставляют вспомнить о символистском словотворчестве, например, о лексических экспериментах В. Брюсова или К. Бальмонта. Элементом символистской поэтики является и особое внимание поэта к цвету, к свето-цветовому строю стихотворения: здесь это цвета “нездешней” яркости – преобладает золотой с его вариантами (солнечный, огненный, “огнепальный”), а кроме него – ярко-алый, голубой и те диковинные цвета, которые каждый читатель представит себе по-своему (как выглядят, например, “лунные чарные лилии”?).

Вообще тема цвета в стихотворениях Ганина – это предмет специального изучения¹. Ганин – поэт многокрасочный, почти каждое его стихотворение имеет неповторимый колористический облик, который складывается из сочных цветовых сочетаний: золотой, алый, синий, белый. Цвета в лирике Ганина не только глубоко символичны, но и ориентированы во многом на православную иконописную традицию. Так, красный или алый – один из любимейших и наиболее частотных цветов у Ганина – в иконописи символизирует любовь, радость, благо и торжество вечной жизни (хотя может иметь и другое значение: красный – цвет крови, мученичества). В стихотворениях Ганина этот цвет означает ликование и свет, новую жизнь. Иногда красный и его оттенки характеризуют у Ганина абстрактные понятия – “алая радость”, “ярко-ал” поэтический полёт в стихотворении “Я прихожу к тебе мечтать...”. В этом случае цвет становится чистым символом.

Символическое значение часто обретает и белый цвет, который в иконописи является цветом чистоты и святости, символом Божественного света. В “белоснежной” одежде появляется в стихотворении “Отгони свои думы лукавые...” сам Христос.

Наконец, самый частотный, на наш взгляд, цвет в поэзии Ганина – золотой. На иконе этот цвет символизирует Бога Саваофа. В лирике Ганина, в согласии с православной традицией, золото – атрибут Божественного: “золотой крест”, “золотой херувим”, “золотые пальцы Саваофа”. Вместе с тем, пристрастие Ганина к образам золотого сияния, солнечного света, огня роднит его и с символистским искусством, особенно с К. Бальмонтом и композитором-символистом А. Скрябиным. Речь идёт не просто о случайном сходстве, об использовании аналогичных средств поэтической выразительности. Ганина и Бальмонта, Ганина и Скрябина связывает глубинное родство поэтики и художественного мышления. У всех троих огонь – всемогущая творческая стихия, а поэт (у Скрябина – музыкант, и он же поэт, вообще – Творец в широком смысле слова) – демиург, вершитель судеб мира, источник и средоточие вселенской энергии. У Ганина в стихотворении “Я прихожу к тебе мечтать...” поэт – это прорицатель, творец и судья, он “песней ткал судьбу миров, // вещал кончины и начала”. В художественном мире Ганина сам поэт и есть источник очистительного огня, который сжигает “всё, что сумрачно и тленно”.

Стихия огня – атрибута поэтического всемогущества – господствует и в стихотворениях сборника “Священный клич”, где поэт-демиург, искупитель мира, ведёт за собой всех “детей земли”. “Огненное слово” поэта воскрешает умерших, они восстают из “тесных гробов”, и вся Вселенная, преображаясь, пылает: “огненный взлёт ураганов”, “алые тучи”, “звёздные костры”.

В стихотворениях сборника “Священный клич”, написанных в 1916–1918 годах, философская тематика, осмысление сущности поэтического творчества соединяется с размышлениями на самые животрепещущие для того времени темы – о происходящих в стране революционных событиях. Судя по стихотворениям тех лет, Ганин воспринимал революцию неоднозначно. С одной стороны, поэт, по-видимому, осознавал историческую неизбежность происходящего: неслучайно в стихотворении 1918 года “Гонимый совестью незримой...” он говорит о чём-то “неотвратимо роковым”, что постигло родную страну. Поэт, как представляется, был готов признать не только неизбежность, но и справедливость того, что совершалось тогда в России. Известно, что в 1917 году Ганин вступил в ряды Красной Армии (служил фельдшером в госпиталях Северного фронта). Стихотворения, созданные в этот период, говорят о том, что революция воспринималась Ганиным как акт справедливого

¹ См., напр.: Судаков Г. В. Живописное слово поэта // “К тебе пришёл я, край родимый...”. Книга о судьбе и творческом наследии вологодского поэта Алексея Ганина. Вологда, 2005.

мщеня, “священный бой”, “священный гнев”. Подобное, романтизированное, восприятие было свойственно многим представителям творческой интеллигенции на начальном этапе революционных событий. Как отмечает проф. Е. Б. Скорospelова, «крестьянские поэты встретили Октябрь как весть о возрождении родины, как надежду на особую нравственно-эстетическую роль русского крестьянства – хранителя самобытных национальных начал», и лишь потом для них стало очевидно другое: “истребление крестьянской культуры, необратимая деформация традиционного деревенского уклада”¹. Ганин пишет в 1917 году стихотворения “Мужайся, брат...”, “Братья, плотнее смыкайте ряды!” (цикл “Священный клич”) – это и своеобразные воззвания к борьбе, и воодушевление битвой, и призыв выше взметнуть “факел красный, наш красный стяг”. Поэт, зовущий к бою, помнит о том, что за пролитую кровь придётся отвечать перед Богом, но считает, что сражающиеся за правое дело не будут осуждены: “да не смутится боем, кто верит в свет”. Молодой поэт первоначально видел революцию в романтических и, одновременно, былинно-сказочных тонах: он зовёт надеть “доспехи”, взять “меч” и ринуться в “сечу” – бить орду врагов, что “ползут” “из тёмных нор”. Подобный метафорический ряд напоминает и о Блоке², творческий диалог с которым, безусловно, присутствует в лирике Ганина. Может быть, взаимодействие с Блоком ощущается ещё более остро в тех стихотворениях, которые отражают другую грань восприятия Ганиным революционных событий: поэт не мог не видеть трагическую сторону происходящего, не осознавать, какой ценой совершаются исторически неизбежные, но от этого не менее страшные и кровавые революционные потрясения. Трагическая сторона восприятия революции отразилась в целом ряде стихотворений тех лет, и одно из самых характерных из них – “Гонимый совестью незримой...”, впервые опубликованное под названием “России” в 1922 году. То, что происходит с Родиной, поэт воспринимает как дьявольское наваждение, разгул бесовских сил:

*А по лесам, где пряжи ночи
сплетали звёздной пряжей сны,
сверкают пламенные очи
и бич глухого сатаны.*

В стихотворении отчётливо ощущается “блоковский” образный ряд:

*Опять над Русью тяготеет
Усобиц княжичий недуг,
Опять татарской былью веет
От расписных узорных дуг.*

*И мнится: где-то за горами
В глуби степей, как и тогда,
Под золочёными шатрами
Пирует ханская орда³.*

Строки, завершающие стихотворение, – “Но чует сердце огневое: // Ты станешь сказкой для веков” – имеют символический смысл и, как и любой символ, поддаются широкому спектру трактовок. Поэт, по-видимому, надеется, что на его родине после тяжёлых потрясений настанет покой и благоденствие, он верит, что “крестная мука”, которую претерпевает Россия, приведёт к очищению и благу. Вместе с тем, вера в грядущее обновление, безусловно, не снимает для поэта трагизма настоящего дня.

Сходный ряд идей лежит и в основе поэмы “Сарай”, написанной в том же 1918 году. Как полагает проф. Н. М. Солнцева, “написана она (поэма – Д. К.) была как бы ради одной фразы: “В кумире дьявол обнаружился”⁴. Как и рас-

¹ Скорospelова Е. Б. Русская проза XX века: от А. Белого (“Петербург”) до Б. Пастернака (“Доктор Живаго”). М., 2003. С. 66.

² Главным образом, о цикле “На поле Куликовом”.

³ “К тебе пришёл я, край родимый...”. С. 283.

⁴ Солнцева Н. М. Китежский павлин. Филологическая проза: Документы. Факты. Версии. М., 1992. С. 229.

смотренные выше стихотворения, поэма посвящена, как представляется, размышлениям о революции. Лирический герой оказался горько обманут в своих ожиданиях: он жаждал Добра, а встретил посланца тёмных сил, приведшего героя на страшное пиршество зла. Перед читателем разворачивается жуткая картина чёрной мессы: пляшущие трупы, кровавая каша, гниль и смрад. Кульминацией стихотворения становится эпизод поистине ужасающий: дьявол, который пожирает детей – безвинных жертв кровавого разгула. Сама собой напрашивается трактовка этой метафоры: дьявольская, разрушительная сила – это революция, в жерле которой гибнут тысячи людей. И всё-таки эту поэму нельзя назвать абсолютно пессимистической. Даже в самом разгаре чёрной мессы лирического героя не покидает проблеск надежды, символ которой – звезда, глядящая в щели сарая. Звезда – знак божественного присутствия, знак Христа и Его искупительного страдания. Торжество сил зла – лишь временно, и вскоре последует очищение и обновление, так же как и за распятием Христовым последовало Воскресение. Надеждой на избавление от зла звучит и финальная строфа стихотворения: герою всё-таки удаётся спастись, покинуть дьявольское пиршество. Наконец, последние строки – образ неба, “беременного красотой”, – также дают основание предположить скорое “рождение” красоты и приход вместе с ней гармонии и блага. Подобного рода глубинный оптимизм характерен для Ганина. Несмотря на революционные потрясения, свидетелем которых он стал, поэт глубоко верил в разумное и гармоничное устройство мира, в то, что всё происходящее есть, в конечном счете, реализация Божественного замысла.

Не только общий ход истории, но и жизнь каждого отдельного человека, как полагал Алексей Ганин, подчинена осуществлению Высшей Воли. Своё предназначение выполняет и поэт, суть труда которого состоит в том, чтобы брать (“красть”, как говорит Ганин в поэме “Мешок алмазов”) у Бога сокровища, щедро разбросанные им по всей Земле, и тут же возвращать ему – стихами. “И солнце, и луна мне платят дань всечасно, // земля в моей руке, хоть сам я сир и мал”, – говорит поэт о тех сокровищах Божьего мира, которые всегда открыты любому взору и которыми всё же владеет поэт, претворяя их в “звонкий звёздный дождь” слов и строк. Часть строк Ганина мы уже никогда не сможем прочесть – значительная доля его наследия безвозвратно утрачена, но и то, что дошло до сегодняшнего дня, является ценнейшей страницей в книге русской поэзии XX века.